



Виктор Степанович Перегудов родился в 1949 году в селе Песковатка Лискинского района Воронежской области. Окончил отделение журналистики Воронежского государственного университета. Работал в воронежской газете «Молодой коммунар», журналах «Политическая работа», «Сельская молодежь», издательстве «Молодая гвардия». Занимал ответственные должности в ЦК ВЛКСМ, политических структурах, Совете Федерации РФ, мэрии Москвы. Публиковался во многих федеральных газетах и журналах. Автор семи книг прозы, в том числе «Великие сосны», «Семь тетрадей», «Сад золотой». Член Союза писателей России. Живет в Москве.

Виктор Перегудов

«ВИЖУ, КАК ВЫ УСТРАИВАЛИ МИР В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ...»

(Из переписки с критиком
Валентином Курбатовым)

29 января, среда.

Дорогой Валентин Яковлевич!
Пишу это письмо в несколько возбужденном состоянии духа. Как будто запыхиваюсь, переплывая большую реку. Название ее Вам хорошо известно. Я, Валентин Яковлевич, читатель матерый, протренированный лучшими русскими книгами, знаю некоторые коды и могу расшифровывать (не за кадровые обстоятельства, а сущностные смыслы), но и все же не думал, что столь тяжек Ваш с Виктором Петровичем Астафьевым «Крест бесконечный»¹ (не раз Вам это скажут).

Спасибо. Сооружение так сооружение. Люди так люди!

Мне во первых строках хочется Вам поклониться за этот невероятный труд. Я вижу, что он обеспечен любовью и заботой Вашей о Вик-

Текст переписки представлен в авторской редакции.

¹ В.П. Астафьев, В.Я. Курбатов. Крест бесконечный. Письма из глубины России. — Иркутск: «Сапранов», 2003. — 529 с.

торе Петровиче, но ведь не всякая любовь трудиться любит, а тут это действительно огромный и опасный труд. Рядом, близко от Астафьева мог быть человек либо совсем родственник, либо, как Вы, ставший почти исповедником для В.П. Либо — когда вскользь, в добрую минуту на посиделках каких-нибудь, так у нас бывало в «Молодой гвардии». А так, мне кажется — опасно! опасно! Знаете, есть такие громадной мощи машины, которыми роют уголь в открытых разрезах: зрелище завораживает, но рядом с этой работой стоять страшно. Или — как маняще быть рядом с грозой гремящей и разящей, но и напивающей живой водой. Рык этой грозы и рев этой работы мне слышны в книге. И нежность его к Вам, то отцовская, то братская,ощутима так, что Вам умные люди поклониться должны — Вы его спасали.

Виктор Петрович многое знал о себе, но подлинной собственной мощи вряд ли осознавал. Видно это из той горячности, с какой он вовлекался во всякую дребедень, но, с другой стороны — жил на грешной земле не древним греком, которому только и дела, что ходи да говори, и без типографий все уйдет напрямиком в вечность.

Не мне, конечно, судить.

Особенно вижу, как Вы устраивали мир в русской литературе. Точнее уж, мир между русскими писателями. В Литературе-то (которая для читателей) он есть, потому что в библиотеке книги Астафьева, Белова и Распутина (и не только их) стоят тесно, да и в сознании, даже и в моем, прочитавшем письма с учетом кое-какой информированности, три этих таланта неразделимы ни на миг. Кто когда какое политическое воззвание подписал — да не важно это уже и сейчас. Не важно. Не важно. Но горько осознавать, что личные разделенности укорачивали, так или иначе, строчку настоящей русской прозы. Тем более, что чем политичнее воззвание, чем мудреней навязанная от власти нагрузка, тем больше и лучше понятна сторонность этого всего для писателя такого уровня, такого таланта.

Не только три богатыря страдали от разделенности, но и все мы, вся литература вместе с навесными орудиями — журналами, издательствами, но и вся Россия вечно этим больна. Не любим мы себя — это ведь осторожно, целомудренно сказано. Как на самом деле было и есть — и писать не могу. Брат на брата. Сын на отца. Внук на деда. Всю жизнь, всю историю. Поневоле позавидуешь маленьким крепким народам, где все — свои, все «наши», хоть в овощном ряду на базаре, хоть в политике.

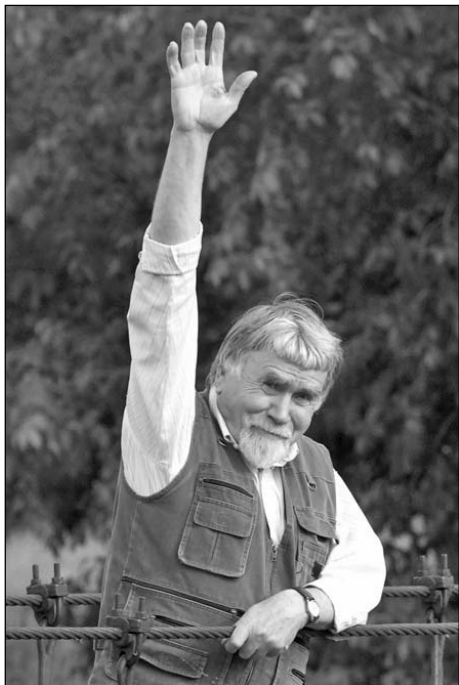
С другой стороны — чему завидовать? Что кровь спаивает в единое и с негодяем, лишь бы кровь одна? Не знаю. Наверное, и не так-то уж спаивает кровь в единое. Но уж забота о демонстрации единости — залюбуешься и позавидуешь.

То ли дело у нас! Мы — белые и красные! Прости нас Господи! Забыли, что в том свете, о котором сказано «Да будет свет» — весь чудесный спектр. Мы не белые и красные — мы русские, что означает огромную полноту и сложность состава нашей крови. Силу ее и, видно, узвимость. Поскольку сложные составы имеют свойство то взрываться, то бродить. Прекрасно об этом свидетельствует ваша общая книга.

А так-то — у нас сеча.

А эта наша сеча — непродуктивна. Если она и плодоносит, то страданием исключительной глубины, промывающим душу до мускульного волокна, но одновременно и рвущим душу с инфарктной яростью.

Поэтому и еще раз скажу: труд Ваш и огромен, и опасен. Это не мое Вам сообщение о Вас, а ощущение книги. Может быть, странное. (Первое, потому что мед-то ее я тоже вкушаю). Да и неблагодарен был труд, потому что стороны конфликта — они мудрые, но для всякого своя мудрость правильная, а ты (Вы) скрепи сердце и стой часовым хранящим.



Валентин Курбатов

И утомительно много возникает разных «обстоятельств», что и Вы свидетельствуете, вокруг значительных людей, всяких цепких зависимостей, деловой мелочевки, сугубо мешающих делу и мрачащих дни.

В Вашей книге, Валентин Яковлевич, странным образом сочетается, так сказать, русский минор (многая печали) и тихая, светлая благодарность Всевышнему, что так устроил мир — с книжками, реками, Овсянкой, с Астафьевым и честной компанией. Иной раз мне казалось при чтении, что Виктор Петрович вовлек Вас с большой беспощадностью в свое мироощущение, не самое оптимистическое, налаживал Вас, вольно, а скорее неволью, на свою волну. С другой стороны — очевидно, что Вы много ему его грубостей наэкономили, степлили жизненную погоду.

Какие-то, рядом с огромнейшей — до земли кланяюсь — благодарностью, есть у меня претензии к составителю. Да какие, впрочем, вполне ясные. Не все напечатано!

Я понимаю причины — от бумажно-типографских и денежных до человеческих, охраняющих — но все же: какая жалость, что среди этих крупных по смыслу и музыке писем нет совсем житейских, «проходных», «легких». По жизни-то они были меж вами. В книге они бы дали блаженную полноту, плавность, неторопливость и обстоятельность, свойственную самой лучшей прозе двух веков. (О замечательности которой Вы же и пишете).

А так-то я, гурман, глазами часто мок, потому что мне больно было читать ЧТО написано и сладко — КАК. Но чаще всего это и не разделялось.

Теперь эта книга войдет в историю. На вечере в Москве Вы сказали, что она прибавит Вам врагов. Нет, не прибавит. Какие есть — эти и останутся, а друзья придут. Книга вовремя вышла — не раньше своего срока — и пищей для огня мелочной «борьбы» никогда не станет. Не потому, что эта, с невнятными нам целями вмененная нам борьба не прекратилась, а потому что все уж теперь вписано в лист неколебимо и неправимо, впечатано в бумагу — стало, значит, окончательно состоявшимся.

Вовремя вышла книга, и она соединяет больше, чем разъединяет.

Хочу Вас предупредить, что это письмо о книге — первое. Буду еще волноваться, и Вы за это не очень сердчайте. (Помимо прочего, эпистолярная книга вызывает большую жадность писать письма. А в Вашу с Виктором Петровичем струю попадаешь — так тут еще и тянет тебя мощная интонация. Так и хочется перейти с писания культурного письма со всеми запятыми на что-то другое — либо душу распахнуть не вполне по теме, либо опять унырнуть в «Крест бесконечный»).

Не буду житейского ничего писать. У вас и своего там хватает. Но не могу все же не сообщить, что за окном у меня на Москву снег идет — снежинки большие, как вишневый цвет. И падают они в черную реку. Грустная картина, но все же — хорошо это — снег с неба. Белый он. Это вот так: январь, городская, пугливо кра-

душаяся река, облака плывут кораблями, и сверху, с кораблей, сеется снег. Поднять к небу лицо и не закрывать глаза. И пойдет влага по лицу, а она соленая, знай смаргивай...

Желаю Вам, дорогой Валентин Яковлевич, здоровья и возможности передохнуть посреди хорошей работы. А то и помимо трудов, по зимнему делу.

До свидания — Виктор Перегудов.

31 января, пятница.

Дорогой Валентин Яковлевич!

Уезжаю сегодня домой, где родился и крестился — в город Лиски Воронежской области. (С женой еду — читатель она вашей книги тоже внимательный, а сын остается дом сторожить). Живой городок — заводы пыхтят, в порту на Дону ржавеют кораблики и баржи, гудит громаднейший железнодорожный узел. На площади перед вокзалом — прямой «Александрийский столп» с ангелом стоит. Кто как ни ездил по СССР или по России — каждый пассажир мои Лиски проезжал хоть раз. Большой у нас там мост через Дон, от этого моста и начинается среднее, тихое течение Дона. Из нашего же района ведется верхнедонское казачество. Ну ладно, распишусь тут...

Еду я на сороковины брата. В воскресенье душа его вознесется, и тогда можно будет о нем говорить как о живом: по его достоинствам и по грехам его. Я в больнице лежал, когда он умер, не был я на его похоронах. Теперь еду. Беру с собой «Крест бесконечный» — не самая веселая книга на свете, но она мне нужна и в эти дни.

Дай Вам Бог здоровья и долгой сладкой жизни!

Виктор Перегудов

Вторник, 4 февраля 2003 г.

Дорогой Валентин Яковлевич!

Позвонил Вам и узнал о перемене Вашего адреса в «сети», и не утерпел, дописываю несколько слов. Я вернулся из Лисок, полегче стало на душе, знать и правда, что на сороковой день происходит облегчение и усопшему, и живым. Все это было совершенно просто и хорошо: отпевание (баушки, как Вы пишете, из церковного хора), свечи горели, два раза я побывал на кладбище — 1 февраля брату исполнился бы 61 год, а на 2 февраля пришлось сорок дней. В Лисках у нас теперь три церкви, а четвертая восстанавливается (да нет, скорее строится, хотя — на родном месте, где до шестьдесят третьего года стояла, а в шестьдесят третьем ее взорвали, но Господь не попустил забвения — строится, строится!). Церкви же — необыкновенной красоты, или уж кажется так, особенно две новые — просто нежные кружева каменные. Там толковая, бережная власть, могучий администратор во главе — Шевцов. Знайте и Вы эту фамилию. На главной площади у нас — ангел стоит на столпе! Я Вам писал строчку об этом!

Но, как водится, всякой-якой беды тоже достаточно: молодежь пьет и колется, и мне много об этом было говорено, и так вышло, что пришлось даже это время наше защищать, утверждать, что жизнь не кончится послезавтра, что в этом поколении есть и чистые, и умные, и талантливые, и художники, и директора, и чемпионы. Ни в коем случае не оскудеем!

На этом и закончу. Встревожен я Вашей хворью, не болейте Вы ради Бога!

Помолюсь, как умею. Здор-р-овья Вам! До свидания!

Виктор Перегудов.

Дорогой Валентин Яковлевич!

Как дела Ваши? Все ли еще длится «Весной я болен»? Если так, то это огорчает меня, потому что мне понятно, что есть такое «болен», когда болен. Потом уж всякую ушедшую болячку нахваливаешь и благодаришь, даже и не лукаво, Боженьку за уроки и испытание. Потом. А когда приходится, как Распутину, в рассказе его (в жизни), за глоток чая муку принимать, потому что бессилён — ох, тут уж радоваться нечему.

Взялся я снова читать «Крест». И такая со мной штука происходит, от которой следует, конечно, воздержаться: к каждому письму я бы написал свое, напорол бы отсебятины, и, прямо скажу, так и тянет, и подмывает, но делать этого не следует. Довольно, думаю, и того, что Вы точно и верно исполнили некоторую задачу, сформулированную в письме от 8 июля 1975 года из с. Глубокого: «В идеале я хотел бы спровоцировать читателя на собственные размышления...» Ну, вот это и вышло с одним из читателей, фамилия его Перегудов. Да не с одним, уж ясно... В идеале, Валентин Яковлевич, Вы это знаете доподлинно, спровоцировать читателя на собственные размышления, на самом деле на собственные, — дело большой, лучшей литературы. Для меня эта книга литература и есть, да и покалорийнее, да и краше многой «регулярной» литературы. Несомненно. И еще одно Ваше глубокое соображение: «правда не ходит в рубище» — в высоком искусстве. Это очень для меня важно. Вроде, почитал я на своем веку, а дурак иной раз бываю: думаю — а вдруг какой-нибудь *модернизм* нужен? После этого прямо надо в церковь бежать и прощения вымаливать — за такие-то мысли. А на худой конец в баню, на верхний полоч лезть и до обморока там изнывать. И еще хохотал я над Вашими рецензентскими страстями, мне очень близкими — когда читаешь какую-нибудь «правильную» хренотень, и хочется не гладкую рецензию написать, а поехать и набить автору морду. А надо все ж писать — и чтоб он, собака автор, не обиделся, и чтоб по возможности все же бросил бумагу-то переводить и издателей мучить. А рожу-то его продувную я так и представляю. Сидит, бывало, этакая морда в галстук и допрашивает тебя: а что в моем романе неправильно? Что?

Он не понимает, что то в романе неправильно, что все правильно. Что «правильный» роман — это вещь невозможная и глупая. Ох, у меня таких правильных туча прошла в «Молодой гвардии». Полегче стало только к 98-99 году, когда уж явную графоманию можно было не мусолить и, по крайней мере, перед ЦК, а то и КГБ, за нее не отвечать. А приходилось ведь. Придешь к умному мужику, он все понимает, и ты все понимаешь, и он тебе говорит: ну ответь ты как-нибудь, чтоб он нам не писал. А «писатель», знай, пишет. И все же — в этом смысле мне очень повезло. Советских церемоний в издательских делах я захватил не так много. А уж в «Молодой гвардии», скажу Вам как автору, (как автору!) — в «гвардии» пришлось мне моим редакторшам немножко пообъяснять, что писатель существует не для редактора, а для читателей. Писатель существует для литературы. Редактор, строго, для писателя, чтобы рукопись вести под ручку, а не на писателе ехать. Редактор для писателя, но не наоборот! Ох же, и бабье тогда на меня взъелось. Бабье это редакторское — оно же писателями чай заваривало. Сколько тщеславия, вспоминать тяжело и стыдно за них. И бедные писатели, серьезные люди, должны же были в какую-то эту бабью игру входить, все бабье пустословие слушать. Там, в «Печальном детективе», есть, помните, яркий образ. Вот что-то вроде этого, только, знаете, на иезуитский еще московский манер. Я помню и даже как-то чуток нос задираю, что после этого моего демарша (на самом деле — системного давления) писателям (не графоманам) стало легче дышать в тех кабинетах.

Хотел у Вас спросить вот о чем: что такое там скрывается за словами «В деревне с радостью писал “критики” на природу...» — это у Вас в письме от 12 сентября 75 года. Я догадываюсь, догадываюсь, поскольку эти самые «критики» у Вас по страницам поблескивают. Тут вот во мне редактор-издатель-читатель, — вся, короче говоря, кумпания разгорелась: пришлите Вы мне то, о чем речь идет. Если можно, то, пожалуйста, пришлите.

Теперь кланяюсь Вам и Вашим близким, кто с Вами рядом в этот мягкий, милый, серый, скромный первый день апреля-месяца. Дождичек у нас тут капнул — и не холодный, не большой. Желаю Вам крепкого здоровья, крепкого!

Виктор Перегудов.

3 апреля 2003 г.

Здравствуйте, дорогой Валентин Яковлевич! К моему огорчению — Ваш текст полностью до меня не долетел. Я получил, одним куском, «Семена при дороге», значит, «Апрель», «Май», «Июль» — и вот «Июль» заканчивается так: **«Крошечный березовый листок, совсем желтый...»**

После этого идут 6 пустых, чистых страниц, а на седьмой вот что: **«...ут сюда летом после долгих своих, часто не детских трудов».**

Огромный пробел, просто провал, а я уж втянулся было, вовлекся в Вас. Расстроился я, потому что мне, привыкшему перечитывать, а не то что раз читать, мне это — разрушительно для какого-то особого настроения, который рождается при чтении. То, что Вы определяете как рождение «собственных размышлений».

Мне трудно понять, даже в своих скромных опытах, куда подевался пейзаж. Я не очень принимаю пейзаж «буквальный», фотографический, но такой и не нужен в прозе. В хорошей, в высокой прозе под пейзажем мерцает душа. Толстой, Тургенев, Бунин, Астафьев, Распутин, Белов. Неотменимо. В стилистическом роде — сейчас часто пишут клиповым манером, размытыми, скачущими пятнами, а надо-то делать прозу с прочностью мозаики, чтоб и крошечного кусочка нельзя было выколотнуть из целостной картины.

На этот счет, о пейзаже, навсегда запомнил слова Виктора Петровича: «Я каждую травинку по имени знаю, о которой пишу». И подразумевались, ясно, не одни только имена трав.

Вы пишете, что любите вставлять в статьи пейзажи, что раздражало редакторов. Бог с ними. Я на том стою, и писал Вам об этом, что редактору-то надо быть скромнее. Это все-таки при Советской власти редактор так раздулся, расшумелся, а много ли их было-то — которых по профессии можно с большой буквы писать? Редактор чувствовал себя частью власти — он и цензор, и за слогом наблюдатель, и мыслеправ. Чуть, чуть! Помощник — да. Борец с графоманией — да. Но — не соавтор. А если тщитесь быть соавторами автору, то «вот вам мое стило, и можете писать сами!» Лучше не скажешь.

У меня тут пейзаж такой за окном: река в гранитных берегах, по набережным бегут в разные стороны разноцветные машинки, снуют себе по хлопотливым городским делам, а по лону вод тем временем медленно плывут белые, свежей вчерашней метелью припорошенные льдины. Вода меж ними не черна по-зимнему, а отражает собой синее, чистое, по случаю ветра, небо.

И, мнится, движение льдин важнее беготни машин.

Позвонил двоюродный брат из Лисок, сказал, что начали подкармливать удобрениями многолетние травы — там у них снега уже нет совсем. Там, а это много южнее Москвы и Пскова, действительный апрель, лед на Дону, если был, то давно уже скатился к Вешенской, и в эту пору, помню, мальчишкой я уж принюхи-

вался к Дону в чайнии — скоро купаться можно. Уже тянуло из школьной пыли прыгнуть в бесконечное лето Господне.

Вот растревожился детством.

Валентин Яковлевич, пришлите, пожалуйста, недостающее и иное — я читатель хороший, Ваши строчки и страницы я не оброню. Есть и еще одна страшная тайна: Борис меня подбивает растолкать Вас насчет издания Вашей прозы. Почему бы и нет?

Обнаглевши окончательно, высылаю Вам два новых рассказа. С некоторым страхом в душе.

Ваш Виктор Перегудов.

5 апреля 2003 г.

Дорогой Валентин Яковлевич!

Книга о Леонове — это «В кругу Леонида Леонова» Александра Овчаренко. В половине третьего ночи отложил ее, потому что такие книги большими ломтями хоть и тянет пожирать, но нельзя, не стоит торопиться. Вообще же — надо брать отдельный блокнот и читать под запись. Мне многое родственно, внятно, многое — мое, о чем в этой книге. И большой, мучительный вопрос — тоже. Метод Леонова, в его отличии от метода Горького — да. У Горького одна фраза, у Леонова — другая, да и еще сложнее. При этом поразительна социализированность Леонова, где с мудростью — наивность. Вопрос о власти. Нет, это далеко не наивность, далеко. Собственно, вечная забота таланта, да во многом и предмет приложения его сил. Парадокс в том, что никакой литературой народ не «исправишь» (как все это зыбко-приблизительно говорится), но власть... на власть можно влиять. Особенно на вертикальную, властную власть, а не на «демократическую», горизонтальную — этой все давно по хрену. Да это и не власть, что вы, что вы! Чиновники, семья-племя.

Вертикальная приглядывала строго, иногда (ох, часто), как в случае с Леоновым, вертикальной властью крутили такие мелкие, злые бесы, из «наших», что оторопь берет. Русскому писателю ковров не постелят — это Распутин повторил вслед за Леоновым. Леонов: три раза его Сталин спасал, и первый раз — когда Валентин Катаев резанул в газете. Но ведь что — ты создай такую жизнь, что писателя за слово его не надо ни от кого спасать, вот было бы дело. Потому как кого-то спасал, а кого-то гноил. Сейчас: сейчас мелкие бесы торжествуют свою смрадную победу — все эти сорокины, ерофеевы, швыдкие и иже с ними. Этой, горизонтальной, властью они крутят в свое удовольствие. Какой там Леонов — не думаю, что его имя за последние пять-семь лет вообще прозвучало в телевизоре. А телевизор, к сожалению, многое значит, как коммуникация, как наркоз в больнице — мы все не в ней ли? «Пирамида» не увидена, замолчана, потому что она своим величием, своим космосом обесмысливает мельчайших паразитов, этих мошек от культуры. Весь сказ.

Да не весь! «Пирамида» и потому еще не видна, что кто и где ее в этом мире может понять, кроме как в России? Директор библиотеки Конгресса США, который там у них считается абсолютным знатоком «русской души» — через литературу, написал о «Пирамиде» в своей книге такую чепуху, что читать стыдно и скучно. Это русские-то «ленивы и не любопытны»? Александр Сергеевич, вы не знаете американцев, из тех, кто имеет отношение к литературе.

Этот рыночный «мир» не увидел «Пирамиду». Ну, чай, оно и понятно...

